

Алексей Писемский

Старая барыня



Алексей Феофилактович Писемский

Старая барыня

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=661275

*А.Ф.Писемский. Собр. соч. в 9 томах. Том 2: Издательство «Правда»,
биб-ка «Огонек»; М.: 1959*

Аннотация

«В селе В...е была последняя станция, на которую приехал я в родные пределы свои на почтовых, и потому велел себя везти на постоялый двор. Его держала знакомая старуха, по прозвищу Грачиха и вор-баба, как обыкновенно прибавляли знающие ее – и бабы и мужики: небольшого роста, с лицом багровым, как из красной меди, толстая, но еще проворная, услужливая, говорунья без умолку, особенно когда навеселе, а навеселе почти целый день с утра до полуночи...»

Содержание

* * *

Примечания

4

56

Алексей Феофилактович

Писемский

Старая барыня

Рассказ

* * *

В селе В.....е была последняя станция, на которую приехал я в родные пределы свои на почтовых, и потому велел себя везти на постоялый двор. Его держала знакомая старуха, по прозванию Грачиха и вор-баба, как обыкновенно прибавляли знающие ее – и бари и мужики: небольшого роста, с лицом багровым, как из красной меди, толстая, но еще проворная, услужливая, говорунья без умолку, особенно когда навеселе, а навеселе почти целый день с утра до полуночи. Подъехал я ночью, перезяб, как водится, до костей. Ощупью вошел по знакомой лесенке и отворил калитку в сени. В полумраке мерцала тоненькая сальная свечка в железном подсвечнике, воткнутом в столб, да из длинной трубы самовара вырывалось пламя от зажженной лучины; смутно видневшаяся лошадиная морда старательно грызла перилы, отделяющие сени от двора. Из отворенных дверей избы валил пар

клубами.

– Хозяйка, старый хрен, господа приехали! – крикнул я.

– Ай, батюшки! Господа и есть, – послышался голос старухи, а затем она и сама появилась.

– В горницу пожалуйте, сударики, сюда, сюда, господа честные! – говорила она.

Я вошел. Сильно нагретым и удушливым воздухом так и обдало меня.

– Старая, у тебя угарно! – сказал я.

– Нет, сударик, нету, с утра еще топлено, – отвечала старуха, а сама, впрочем, засунула жирную руку в отдушину и вытаскивала оттуда вьюшки.

Я между тем раздевался.

– Батюшки! – воскликнула старуха, всплеснув руками. – На-ка, барин-то знакомый, а я, старая дура, и не признала, на-ка! Откуда изволишь ехать?

– Из Питера.

– Ну, вот откуда. Не узнала я, не узнала, раздобрел больно, какой дюжий стал. Иван Петрович, сударь, недавно проезжали.

– Какой Иван Петрович? – спросил я.

– Иван Петрович Сорокин, чтой-то, словно не знаешь, благоприятели, чай?

Никакого Ивана Петровича Сорокина и во сне не видывал, но, догадываясь, что старуха хочет что-нибудь рассказать про Ивана Петровича, притворился.

– А что же? – спросил.

Старуха только махнула рукой.

– Ой, не говори уж лучше, такая у них этта пановщина была с барыней-то, что хоть до нехорошего... Мирила, мирила их, да и полно!

– Повздорили! – заметил я.

– Шибко, – отвечала старуха, – в грошовом калаче дело вышло, барин-то скупенек; сам вон кузовья покупает, чтоб хошь копейку какую выторговать; ну и принес с базара грошовый калач, да и потчует барыню, а той не нравится, из того и пошло: «Ты, говорит, мне все делаешь напротив», а та стала корить: «Ты, говорит, душенька, меня только мякиной и кормишь», ну и почали, согрешила я, грешная, с ними.

– И что же? – спросил я.

– Ничего, побранились, – отвечала старуха; и потом, вдруг переменяв насмешливое выражение на грустное, произнесла печальным голосом: – Тетенька-то твоя, батюшка, Марья Николавна, померла.

– Какая тетенька Марья Николавна? – спросил я.

– Ой, да Ометкина-то, чтой-то в Питере-то всех переэбыл.

– Ну, баушка, провралась, такой тетки у меня не бывало, – проговорил я.

– На, аль взаправду это не тебе тетка-то? Так, так, так!.. Николаю Егорычу Бекасову, вот ведь чья она тетка-то, – вывернулась старуха. – Похороны, сударь, были богатеющие,

совершали, как должно, не жалеючи денег. Что было этого духовенства, что этой нищей братии!.. – продолжала она, поджимая руки и приготавливаясь, кажется, к длинному рассказу. Но в это время из соседней комнаты послышался треск и закричал сиплый голос:

– Пусти меня, кто меня смеет вязать. Ванька... хозяин мой... подлец, дай водки! Пусти меня... – и снова треск.

– Успокойте себя, Владимир Васильич, просим вас покорнейше, сусните хоть немножко, право слово, вам легче будет! – отвечал фистулой другой голос.

– Легче? Легости мне не надо. Я, значит, гуляю, а ты подлец – вот весь мой разговор с тобой, и кончено! – произнес сиплый голос и потом запел:

Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял!¹

– Кто там такой? – спросил я.

– Охотник, батюшка... мужички в рекруты везут сдавать за себя... охотник загулял, – отвечала хозяйка.

– Что же трещит там такое?

– Ну, да хмелен уж очень, так посвязали его... опасаются тоже, чтобы чего не случилось, сюда-то уж приехал до зелена змея пьяный, да и здесь еще полштофа выпил, ну так и

¹ Гусар, на саблю опираясь – первый стих «Разлуки» К.Н.Батюшкова (1787—1855), ставшей популярным романсом.

опасаются, посвятили.

– В таком случае, тетка, пусти меня в избу, здесь угарно, да и пьяный, – сказал я, вставая.

– Батюшка, да в избе-то тараканы, морозила, морозила, не переводятся окаянные, да и только.

– Нет, ничего, я не боюсь тараканов.

– Ну, как изволишь, – отвечала старуха и стала провожать меня, бормоча:

– Опасаются тоже, пятьсот рублей уж прогулял, пожалуй, еще облопается – и пропали денежки.

Изба, куда я вошел, была большая и обрядная, стены струганые, печь белая, перегородка от нее дощаная, лавки и поллицы чисто вымытые. В переднем углу под образами стоял стол, за которым сидел старик с бритой бородой, с двумя седыми клочками волос на висках, с умным выражением в лице и, как видно, слепой. Одет он был в синий, старинного покроя, суконный сюртук, из-под которого виднелась манишка с брыжами и кашемировый полосатый жилет, тоже, должно быть, очень старинный. Весь этот ветхий костюм его был чист и сбережен наперекор, кажется, самому времени. Рядом с ним помещалась тоже очень опрятная и благообразная старушка, в худеньком старом капоре и в ситцевом ватном капоте. На первый взгляд я подумал, что это бедные дворяне. При входе моем старушка сейчас встала, сказала что-то старику, тот приподнялся, и оба поклонились мне.

– Садитесь, пожалуйста, место будет, – сказал я.

– Ничего, сударь, – отвечала старушка каким-то жеманным голосом, отодвигая свои скудные пожитки в мешочке.

– Сидите, пожалуйста, – повторил я.

Старик прислушался к моим словам и, ощупав с осторожностью слепца лавку, сел, а потом, опершись на свою клюку, уставил на меня свои мутные глаза; старушка не садилась и продолжала стоять в довольно почтительной позе. Я догадался, что это не дворяне.

– Куда едете, любезные? – спросил я.

– В губернский город, милостивый государь, – отвечал старик печальным голосом.

– Дедушки, батюшка, охотника этого; провожают его... дедушки, – подхватила хозяйка, ставившая на стол самовар.

– Деда этого молодца? – сказал я.

– Деда, – отвечал, глубоко вздохнув, старик и потупил свою седую голову.

– А званья какого?

– Мещане, ваше высококордие.

– Из роду мещане?

– Никак нет-с, напредь того были господские люди.

– Не в эком бы месте внуку Якова Иваныча надо быть, – вмешалась хозяйка, – вот при нем, при старичке, говорю, – продолжала она, – в свою пору был большой человек, куражливый. Приедет, бывало, на квартиру, так знай, хозяйка, что делать, не подавай вчерашнего кушанья или самовар нечищенный.

Старик горько улыбнулся.

– Не думали и мы, сударыня, что наше родное детище будет таким, – проговорила старушка своим жеманным и несколько плаксивым тоном.

– Что говорить, мать моя, что говорить! – подхватила хозяйка, тоже плачевным тоном.

– Остался после дочери моей родной, – продолжала старушка, – словно ненаглядный брильянт для нас; думали, утехой да радостью будет в нашем одиночестве да старости; обучали как дворянского сына; отпустили в Москву по торговой части к людям, кажется, хорошим.

– Что говорить, что говорить, мать моя, – подхватила еще раз хозяйка.

– Что ж он, загулял там? – спросил я.

– Бог знает, сударь, как сказать, хозяева ли обижали или сам себя не поберег, – отвечала старушка.

Старик горько улыбнулся и перебил жену:

– Он еще с детства себя не берег, оттого, что в баловстве родился и вырос; другие промышленники по этому же делу, еще в мальчиках живши, в дома присылают, а наш все из дому пишет да требует: посылали, посылали, наконец, сами в разоренье пришли. А тут слышим, что по таким делам пошел, что, пожалуй, и в острог попадет. Стали писать и звать, так только через два года явился: пришел наг и бос. Обули, одели, думая, что в наших глазах исправленье будет, а вместо того с первой же недели потащил все из дому в кабак...

С каждым словом в голосе старика слышалось более и более строгости, а на глазах старушки навернулись слезы.

– Чьих же вы господ были? – спросил я, чтобы прекратить этот, видимо, тяжелый для них разговор.

– Господ мы были: госпожи гоф-интенданши² Пасмуровой, – отвечал слепец внушительно.

– Гоф-интендантши Пасмуровой, – повторил я, припоминая, что мне еще матушка рассказывала что-то такое о гоф-интендантше Пасмуровой как о большой, по-тогдашнему, барыне.

– Ваша госпожа была здесь довольно знатное и известное лицо? – сказал я.

При этом вопросе лицо старика окончательно просветлело.

– Госпожа наша, – начал он, не торопясь и с ударением, – была, может, наипервая особа в России: только званье имела, что женщина была; а что супротив их ни один мужчина говорить не мог. Как ими сказано, так и быть должно. Умнейшего ума были дама.

– Хорошо, говорят, жила, открыто? – спросил я.

– По-царски или как бы фельдмаршалше какой подобает. Своей братьи помещиков круглый год неразъездная была. В доме сорок комнат, и то по годовым праздникам тесно быва-

² Гоф-интендантша – жена придворного чиновника, заведовавшего дворцами и садами. С 1797 года Гофинтендантская контора была подчинена обер-гофмаршалу.

ло. Словно саранчи налетит с мамками, с детками, с няньками, всем прием был, – заключил старик каким-то чехвальным тоном. Я понял, что передо мной один из тех старых слуг прежних барь, которые росли и старелись, с одной стороны, в модном, по-тогдашнему, тоне, а с другой – под палкой...

– Ты, верно, управителем был? – спросил я.

– Я был, сударь, – отвечал старик, зажимая глаза и как бы собираясь с мыслями, – был, по-нашему, по-старинному сказать, главный дворецкий: одно дело – вся лакейская прислуга, а их было человек двадцать с музыкантами, все под моей командой были, а паче того, сервировка к столу: покойная госпожа наша не любила, чтобы попросту это было, каждый день парад! А другое: зрение они слабое имели, и по той причине письма под диктовку их писал, по делам тоже в присутственных местах хождение имел, так как я грамоте хорошо обучен и хоть законов доподлинно не знаю, а все с чиновниками мог разговаривать, умел, как и что сказать; до пятидесяти лет, сударь, моей жизни, кроме шелковых чулков и тонкого английского сукна фрака, другого платья не нашивал. Дай бог царство небесное, пользовался милостями госпожи моей!

– Нынче уж таких господ нет, – сказал я.

– Никак нет-с, да и быть, сударь, не может. Не имею чести знать, кто вы такие, а по слепоте моей и лица вашего не вижу; таких господ уже нет! – отвечал старик, как бы удерживаясь

говорить со мною откровенно.

– Я здешний помещик, и мне бы очень хотелось порасспросить тебя о старых господах.

Старик вздохнул.

– Девяносто седьмой год, сударь, живу на свете и большую вижу во всем перемену: старые господа, так надо сказать, против нынешних орлы перед воробьями! – проговорил он, значительно мотнув головою.

– Отчего же это? – спросил я.

Старик в раздумье развел руками.

– Первое дело, – начал он, – что все состоянием-то как-то порасстроились, да и духу уж такого не имеют; у нынешних господ как-то уж совсем поведенье другое, а прежде жили просто; всего было много: хлеба, скота, винная седка тоже своя, одних наливок – так бочками заготовлялось, медов этих, браг сладких! Веселились да гуляли или теперь, бывало, этих шутов и шутих свезут всех вместе у кого-нибудь на празднике, да и напустят друг на дружку, те и дерутся, забавляют господ, а нынче дворянство как-то и компании друг с другом мало ведут, все больше в книгах забаву имеют.

На этом месте старик приостановился, но потом вдруг начал с одушевлением:

– Да и много ли нынче господ по усадьбам проживают? Разве какой старый да хворый, а то все, почесть, на службе состоят, а уж из этаких-то больших персон, так и нет никого; хошь бы теперь взять: госпожа наша гоф-интенданша, –

продолжал он почти с умилением, – какой она гонор по губернии имела: по-старинному наместника, а по-нынешнему губернатора, нового назначают, он еще в Петербурге, а она уж там своим знакомым министрам и сенаторам пишет, что так как едет к нам новый губернатор, вы скажите ему, чтобы он меня знал, и я его знать буду, а как теперь дали ей за известие, что приехал, сейчас изволит кликать меня. Я являюсь, делаю мой реверанс. «Слушай, говорит, Яков Иванов! – в нос всегда изволили немного выговаривать. – Слушай! Приехал новый губернатор, возьми ты лучшую тройку, поезжай ты в Кострому, ступай ты к такому-то золотых дел мастеру, возьми по моей записке серебряную лохань, отыщи ты, где хочешь, самолучших мерных стерлядей, а еще приятнее того – живого осетра, явись ты от моего имени к губернатору, объяви об себе, что так и так, госпожа твоя гоф-интенданша, по слабости своего здоровья, сама приехать не может, но заочно делает ему поздравление с приездом и, как обывательница здешняя, кланяется ему вместо хлеба-соли рыбой в лохане». Тот принимает, мне сейчас отличное угощение делают, госпоже нашей изволят они писать письмо.

– Дружелюбие, значит, и началось, – заметил я в тон старику.

– Именно, что дружелюбие, слово ваше справедливое! – подхватил он. – По той причине, что как теперь его превосходительство начальник губернии изволят на ревизию поехать, так и к нам в гости, и наезды бывали богатеющие: ны-

нешние вот губернаторы, как видали и слыхали, с форсом тоже ездят, приема и уважения себе большого требуют, страх хоша бы маленьким чиновникам от них великий бывает, но, знавши все это по старине, нынешние против того ничего не значат.

– А прежде что ж? – спросил я.

Яков Иванов пригнул на некоторое время голову на сторону и начал:

– Прежде, сударь, бывало, губернатор по губернии ехал, аки владыко земной: что одних чиновников этих при особе его состояло, что этого дворянства по дороге пристанет. Один был, не смею имени его наименовать, такс супругой еще всегда изволили по губернии ездить, а те, с позволения сказать, по женской своей слабости, к собачкам пристрастие имели. Про собачек этих особый экипаж шел, а для охранения их нарочный исправник ехал, да как-то по нечаянности одну собачку и потерял, так ее превосходительство губернаторша, невзирая на свой великий сан, по щеке его ударила при всей публике да из службы еще за то выгнали, времена какие были-с.

– Хорошие были времена, простые! – заметил я.

– Просто было-с, – заключил Яков Иванов, потом, подумав, продолжал: – Бывало, сударь, вся эта компания наедет к нам, сутки трои, четыре, неделю гостят, и теперь какую бы губернатор в доме вещь ни похвалил: часы ли, картину ли, мису ли серебряную, я уж заранее такой приказ имею, что

как вечер, так и несуч к ним в опочивальню, докладываю, что госпоже нашей очень приятно, что такая-то вещь им понравилась, и просят принять ее.

– Неужели же старуха все это из чехвальства делала? – спросил я.

– Чехвальство чехвальством, – отвечал Яков Иванов, – конечно, и самолюбие они большое имели, но паче того и выгоды свои из того извлекали: примерно так доложить, по губернскому правлению именье теперь в продажу идет, и госпожа наша хоть бы по дружественному расположению начальников губернии, на какое только оком своим взглянут, то и будет наше. Коли хоша я, поверенный госпожи Пасмуровой, пришел на торги в присутствие, никто уж из покупателей не сунется: всяк знает, что начальник губернии того не желает. Поблагодаришь кого и чем следует, а за именье что дали, то и ладно. Белогривское именье нам, сударь, этак попало по сто двадцати рублей в те времена, а я приехал принимать вотчину да по двести рублей с мужиков старой недоимки собрал, и извольте считать: во что оно нам пришло!

Яков Иванов потупился и вздохнул.

– Старик! Ведь это грех, ведь это то же воровство, – воскликнул я.

– Грех, сударь; в нищенстве и слепоте моей все теперь вижу и чувствую. В заповеди господней сказано: не пожелай дома ближнего твоего, ни села его, ни раба его, а старушка наша имела к тому зависть, хотя и то надобно сказать, все

люди, все человеки не без слабости.

На последние слова он сделал более сильное ударение.

– Выгодчики были с барыней-то своей, еще какие! – вмешалась вдруг возившаяся около печки Грачиха. – Про именье рассказываешь – нет, ты лучше расскажи, как вы дворянина за свою вотчину в рекруты отдали, – продолжала она, выходя из-за перегородки и вставая под полати, причем взялась одной рукой за брус, а другую уперлась в жирный бок свой.

Яков Иванов немного нахмурился.

– Как дворянина? – спросил я.

– А и сдали, – отвечала Грачиха, – не любила, сударь, их госпожа генеральша мужиков своих под красную шапку отдавать, все ей были нужны да надобны, так дворянин на ту пору небогатенькой прилучился: дурашной этакой с роду, маленького, что ли, изурочили, головища большая, плоская была, а разума очень мало имел: ни счету, ни дней, ничего не знал. Ну, а дворянством своим занимался тоже, разумел это. Вот соколики эти и подъехали к нему и стали его уговаривать: «Ты, говорят, барин, а живешь по работникам у мужиков, лучше бы в службу шел. Теперь, говорит, ты грамоте не поучен, и тебя по дворянскому роду не примут, а ступай за нашу вотчину, а после и объявишь об себе, тебя как дворянина и поведут». Тот сдуру-то, родных тоже никого не было, чтобы разговорить да посоветовать, а они его винищем поили да пряниками кормили, сдуру и согласился. Привели

баринка в присутствии, объявили за простого мужика, крикнули: «Лоб!», надели лямку и ступай, значит, марш заодно с рекрутами. Города через три али четыре тот и заявляет своему начальнику: «Я, говорит, дворянин». – «Какой, говорят, ты дворянин...» – попугал его маленько, а он все свое: дворянин да и только; и пошел к начальству выше, объявляет то же. Те смотрят по бумагам – видят – мужик, отрапортовали его уж как надо. Сердечный баринок наш видят, что, как о дворянстве объявит, – хлещут, взял да и отступился, отрубил за их вотчину тридцать пять годков. Документчики какие были. Може, за эти выдумки родной кровью своей теперь и платится, – заключила Грачиха вполголоса, указав глазами на Якова Иванова, который, в свою очередь, весь ее рассказ слушал, потупив голову и ни слова не возражая. Я постарался опять переменить разговор и спросил старика:

– Кому ж именье госпожи вашей досталось? Я видел, усадьба какая-то разоренная, запущенная, дом развалился?..

– В опеке, сударь, наше именье состоит, – отвечал он, видимо довольный этим переходом. – Ну и опекуны тоже люди чужие: либо заняться ничем не хотят, либо себе в карман ташат, не то, что уж до хозяйства что касается, а оброшников и тех в порядке не держат: пьяницы да мотуны живут без страха, а которые дома побогаче были, к тем прижимы частые: то сына, говорят, в рекруты отдадим, то самого во двор возьмем.

– И откупайся, значит, мужичок. Прежде-то уж вы больно

много денег нажили, – подхватила Грачиха.

Яков Иванов не обратил никакого внимания на ее слова и продолжал:

– Против чиновников тоже вотчина никакой заступы не имеет. Прежде, бывало, при покойной госпоже дворовые наши ребята уж точно что народ был буйный... храмового праздника не проходило, чтобы буйства не сделали, целые базары разбивали, и тут начальство, понимаючи, чьи и какой госпожи эти люди, больше словом, что упроят, то и есть, а нынче небольшой бы, кажется, человек наш становой пристав, командует, наказует у нас по деревням, все из интересу этого поганого, к которому, кажется, такое пристрастие имеет, что тот самый день считает в жизни своей потерянным, в который выгоды не имел по службе. Я как-то раз, встретивши его в городе, говорю: «За что и за какие вины, говорю, сударь, вы так уж очень вотчину покойной госпожи моей обижаете?» – «Ах, говорит, старец почтенный, где нынче нам, земской полиции, стало поначальствовать, как не в опекунских имениях; времена пошли строгие: за дела брать нельзя, а что без дела сорвешь, то и поживешь», смеется-с!

– Того и стоите; на крапиву надобен и мороз, а то бы она долго жглась, – проговорила, подмигнув глазом, Грачиха.

– На каком же основании именье ваше в опеке, за долги, что ли? – спросил я.

– Малолетних, сударь, теперь наше имение. За малолетними, за правнуками госпожи нашей числится оно, – отве-

чал Яков Иванов.

– А сыновья и внучата где же?

– Сын их единокровный, – начал старик с грустной, но внушительной важностью, – единая их утеха и радость в жизни, паче всего тем, что, бывши еще в молодых и цветущих летах, а уже в больших чинах состояли, и службу свою продолжали больше в иностранных землях, где, надо полагать, лишившись тем временем супруги своей, потеряли первоначально свой рассудок, а тут и жизнь свою кончили, оставивши на руках нашей старушки свою – дочь, а их внуку, но и той господь бог, по воле своей, не дал долгого веку.

С каждым словом старика я видел, что лицо Грачихи больше и больше принимало насмешливое выражение.

– Эх, полно, полно, Яков Иваныч, не ты бы говорил, не я бы слушала! – воскликнула она, махнув рукою.

У слепца как будто бы уши поднялись при этом восклицании.

– Что ж вам так слова мои не по нраву пришли? – проговорил он.

– А то не по нраву, что не люблю, коли говорят неправду, – отвечала Грачиха, – не от бога ваши молодые господа померли, про сынка, пускай уж, не знаем, в Питере дело было, хоть тоже слышали, что из-за денег все вышло: он думал так, что маменька богата, не пожалеет для него, взял да казенным денежкам глаза и протер, а выкупу за него не сделали. За неволю с ума спятишь, можно, не своей смертью и по-

мер, а принял что-нибудь, – слышали тоже и знаем!

– Вот вы что знаете, чего и мы не знаем, – возразил Яков Иванов.

– Шалишь, дедушка, знаешь и ты, только не сказываешь. А что про вашу барышню, так уж это, батюшка, извини, на наших глазах было, как старая ваша барыня во гроб ее гнала, подсылы делала да с мужем ссорила и разводила, пошто вот вышла не за такого, за какого я хотела, а чем барин был худ? Из себя красивый, в речах складный, как быть служащий.

Яков Иванов насильно улыбнулся.

– По вашему, сударыня, женскому рассудку, может быть, и так, – произнес он с полупрезрительной миной, – а что как мы понимаем, так этот господин был нашей барышне не пара.

– Знаем, сударь Яков Иваныч, – перебила Грачиха, – понимаем, батюшка, что вы со старой госпожой вашей мнением своим никого себе равного не находили. Фу ты, ну ты, на, смотри! Руки в боки, глаза в потолоки себя носили, а как по-другому тоже посудить, так все ваше чванство в богатстве было, а деньги, любезный, дело нажитое и прожитое: ты вот был больно богат, а стал беден, дочку за купца выдавал было, а внук под красну шапку поспел.

При этом намеке все молчавшая до того старушка, жена Якова Иванова, вспыхнула и проговорила:

– И вам, сударыня, не сказано, как век проживете: теперь вот при состоянии, а может, тоже не лучше нас дойдете.

– Да что мне знать-то? Знать мне, матушка Алена Игнатъевна, нечего: коли по миру идти – пойду, мне ничего. Э! Не такая моя голова, завивай горе веревочкой: лапотницей была, лапотницей и стала! А уж кто, любезная, из салопов и бархатов надел поневу, так уж нет, извини: тому тошно, ах, как тошно! – отрезала Грачиха и ушла из избы, хлопнув дверью.

Алена Игнатъевна еще более покраснела; старый дворецкий продолжал насильно улыбаться. Мне сделалось его жаль; понятно, что плутовка Грачиха в прежние времена не стала бы и не посмела так с ним разговаривать. Несколько времени мы молчали, но тут я вспомнил тоже рассказы матушки о том, что у старухи Пасмуровой было какое-то романическое приключение, что внучка ее влюбилась в молодого человека и бежала с ним ночью. Интересуясь узнать подробности, я начал издалека:

– Что эта дура Грачиха врет, что барыня ваша заела внучкин век! – сказал я будто к слову.

– На ветер лаять все можно, – отвечал Яков Иванов, – а коли человек в рассудке, так он никогда сказать того не может, чтоб госпожа наша внучки своей не любила всем сердцем, только конечно, что по своей привязанности к ним ожидали, что какой-нибудь принц или граф будет им супругом, и сколь много у нашей барышни ни было женихов по губернии, всем генеральша одно отвечала: «Ищите себе другой невесты, а Оленька моя вам не пара, если быть ей в замуже-

стве, так быть за придворным». И было бы так: невеста наша была не заурядная, хоть бы насчет состояния, полторы тысячи душ впереди, сама ученая по-французски, по-немецки, из себя красавица.

– Красоты, кажется, была такой, – вмешалась Алена Игнатьевна, – что редко на картинках таких красавиц изображают. Приехала тогда из ученья из Питербурга к бабенке: молоденькая, розовая, румяная, платья тогда, по-старинному сказать, носили без юбок, перетянутся, волосы уберут, причешут, братец мне родной – парикмахер – был нарочно для того выписан из Питербурга, загляденье для нас, рабынь, было: словно солнце выйдет поутру из своих комнат.

– За кого же она вышла? – спросил я.

Яков Иванов при этом вопросе только покачал головой.

– Соседка тут была около нас, бедная дворянка, – отвечал он, – так за сына ее изволила выйти, молодого офицера, всего еще в прапорщичьем чине, и так как крестником нашей старой госпоже приходился, приехал тогда в отпуск, является: «Маменька да маменька крестная, не оставьте вашими милостями, позвольте бывать у вас». Ну и генеральша наша принимала, разумея так, что еще мальчик. «Поди, Феденька, подай моську, позови Якова, вели давать чай...» Почесть что держала на посылках, а он вообразил себе другое. Барышне нашей, по молодости ее лет, также приглянулся, девица была еще неопытная, хотя в богатстве родилась и выросла, а людей тоже мало видала.

– Как же у них все это шло, хотелось бы мне знать? – сказал я.

– Вначале я и не знаю хорошенько, без меня это было, в Питербурге тогда целый год по делам госпожи хлопотал, – отвечал Яков Иванов, – вон она вам лучше расскажет, на ее глазах все это происходило, – прибавил он, указав головой на жену.

– Как же это, Алена Игнатьевна, а? – обратился я к старушке.

Она потупила жеманно голову и начала:

– Дело, сударь, происходило: ездил да ездил к нам молодой барин Федор Гаврилыч, и сердце сердцу весть подает – не то, что в барском роде, а и в нашем холопском. Барышня наша, так доложить, на фортепьянах была большая музыканша, а Федор Гаврилыч на флейте играли, ну и стали тешить себя, играли вместе, старушка даже часто сама приказывала: «Подите, дети, побренчите что-нибудь», или когда вечером музыкантам прикажут играть, а их заставит танцевать разные мазурки и лекосезы, а не то в карты займутся, либо книжку промеж собой читают. Сад был тоже у нас большой, аллеи темные, в другую солнце круглый день не заглянет, бабенка после обеда лягут почивать, а они по аллеям этим пойдут гулять с глазу на глаз, очень было заметно даже для нас, для прислуги, – все, почесть, видели и знали.

– Если бы я тем временем дома был, дело бы не пошло так далеко; я на первых бы порах доложил госпоже, – перебил

Яков Иванов.

– Докладывать госпоже, Яков Иваныч, как бы еще изволили они принять; сами знаете, не любили, чтоб их учили, а больше того и барышню за их ангельскую доброту и кротость жалели, – возразила вполголоса Алена Игнатьевна и снова потупила свои мягкие и добрые глаза.

– Каким же образом открылось? – спросил я.

– Через маменьку Федора Гаврилыча, Аграфену Григорьевну, – продолжала Алена Игнатьевна, – люди их тоже после рассказывали, так как стала она говорить сыну: «Приехал ты через кои веки к матери на побывку, а все свое время проводишь у Катерины Евграфовны», а он ей на это говорит: «Маменька, говорит, я должен вам сказать, что мне очень нравится Ольга Николавна, а также и я им». Аграфена Григорьевна очень тому обрадовалась.

– Еще бы, – заметил с насмешкою Яков Иванов, – по пословице: залетели вороны в большие хоромы! Только бы прежде надо было подумать, что такое они значут и что значит наша барышня.

– Свое детище, Яков Иваныч, до кого ни доведись, всякому дорого и мило, – скромно и с почтением возразила Алена Игнатьевна и потом снова обратилась ко мне. – Думавши, может быть, так, что госпожа наша Федора Гаврилыча изволят ласкать и принимать, они и понадеялись.

Старый дворецкий, как бы не утерпевший с досады, опять перебил жену:

– Деревня, деревня и есть: барыня эта, Аграфена Григорьевна, только что из дворянского рода шла, а женщина была самого деревенского, бабьего рассудку.

– Что ж они, сватались? – спросил я.

– Как же-с, – отвечал Яков Иванов, и лицо его окончательно приняло какое-то озлобленное выражение. – В самый, кажется, летний Николин день приехала к нам эта Аграфена Григорьевна, и что-то уж очень нарядная. Генеральша наша и смеется ей: «Что это, мать моя, как расфрантилась?» Она поцеловала у ней ручку и говорит: «Как же, говорит, ваше превосходительство, мне в этакой дом ехать не нарядной». Севши после этих слов, по приглашению нашей госпожи, в кресла, заводит разговор о сыне своем. «Очень, говорит, Катерина Евграфовна, вами благодарна, что вы моего Феденьку изволите так принимать». – «Отчего, – говорит на это госпожа наша, – мне его не принимать: чем у тебя там по глупым вашим поседкам по избам бегать, пускай лучше у меня бывает, по крайней мере насчет обращения чем-нибудь заняться может, а он мальчик неглупый и, кажется, добрый». Похвалила, знаете, больше из жалости, а это еще больше придало гонору этой госпоже Аграфене Григорьевне. «Да, говорит, матушка Катерина Евграфовна, должна я, грешница, благодарить бога: хотя в супружестве большого счастья не имела (потому что, с позволения доложить, покойный муж ее, занимаясь сам хмелем, через два дни в третий бил ее за ее глупость). Весь свой век изжила в горестях и недостатках (про-

стее того сказать, на постных щах круглый год), но зато, говорит, за все это в сыне моем имею теперь утешение. Службу свою, по желанию моему, он оставляет и будет жить при мне, и теперь бы такое с ним наше намерение, чтобы он женился». Госпожа наша только плечами пожала и, так как просто и строго с такими маленькими и необразованными дворянами изволила обращаться, прямо ей и говорит: «Что ты, глупая фефела, вздумала? Малый без году неделя из яйца вылупился, а она уж из службы его взяла и женить хочет. Да разве нищих разводить и без вас мало! И кто теперь, какая дура за него пойдет?» Ну, и кабы эта безрассудная барыня Аграфена Григорьевна имела хоть сколько-нибудь разуму, ей бы и замолчать, а она стала продолжать разговор и уж прямо: «Матушка, говорит, Катерина Евграфовна, дело уж сделано, и теперь бы для нас было большое счастье, если бы Феденька мой удостоился получить руку вашей Ольги Николавны». Старушка наша, по своему великодушию, и тут стерпела и только устала на нее свои очки, покачала головой и тихо сказала: «Ах ты, говорит, дурища, дурища набитая; понимаешь ли ты, что ты говоришь? Твоему отродью жениться на моей Оленьке? Да как вы осмелились такие мысли иметь?» Но глупому человеку, видно, хоть кол на голове теши, ему все равно. Аграфена Григорьевна и этого ничего не поняла и все продолжает свое: «Матушка, говорит, Катерина Евграфовна, как нам таких мыслей не иметь, когда ваша Ольга Николавна дали уж Феденьке слово, а если, говорит, насчет

состояния, так он не нищий, у него после моей смерти будет двадцать душ». Удивить и пленить чем госпожу нашу думала! Я тогда чай подавал и только обмер, видевши, что у старушки нашей и пенка уж на губах выступила. «Господи, что только будет», – думаю; но они и тут себя сдержали, стукнули своей клюкой и только крикнули: «Вон из моего дома!» Сваха, как сидела, так и вскочила, накинула себе на голову свою шаль и почесть что без салопу уехала; мы, лакеи, уж и не провожали, и этого почету даже не отдали.

Проговоря это, старик утомился и замолчал, и только по выражению его лица можно было догадаться о волновавшей его глубокой досаде на то, что все шло и делалось не так, как рассчитывала и желала госпожа его и он.

– Вот, я думаю, гроза-то разразилась над бедной вашей барышней? – сказал я, обращаясь более к Алене Игнатьевне.

– Не без того, сударь, – отвечала она, взглянув на мужа и как бы желая угадать, нравятся ли ему ее слова. – Сами мы не слышали, – продолжала Алена Игнатьевна вполголоса, – а болтали тоже после, что Ольга Николавна прямо бабеньке сказали, что ни за кого, кроме Федора Гаврилыча, не пойдут замуж, и что будто бы, не знаю, правда или нет, старушка, так очень рассердившись, ударила их по щеке.

Последние слова Алена Игнатьевна произнесла уж почти шепотом и потом снова начала прежним голосом:

– Пришедши после того в гостиную, смотрим: Катерина Евграфовна ушла в свою моленную, а барышня лежит середь

полу, без всяких чувств. Словно мертвую отнесли мы их в мезонин, а от Катерины Евграфовны слышим такой приказ, чтобы и ходить за ними никто не смел, но, увидевши их в таком положении, я осталась при них, стала им головку уксусом примачивать. Поопамятовались, узнали меня. «Где я, говорит, Аленушка, и что со мной было?» Я им докладываю. «Ах, говорит, Аленушка, зачем я, несчастная, ожила опять на белой свет», а сами всплеснули ручками да так и залились слезами. Я стою у них в ножках у кровати, и что ведь, мы, сударь, рабы – дуры, какие наши разговоры могут быть... сказки мои Ольга Николавна любили слушать. «Не прикажете ли, говорю, сударыня, сказочку вам рассказать?» Они сначала рассмехнулись и только головкой помотали, а потом опять заплакали. Чем их утешать да уговаривать, и сама не знаю! Взяла да Федора Гаврилыча и похвалила, что умен и хорош он очень, так не поверите, сударь, словно барышня моя ожила, дыханье даже перевести хорошенько не могут. «Нравится, говорит, он тебе, Аленушка?» – «Нравится, говорю, сударыня, и вся наша прислуга их любит и хвалит». – «Вот видишь, говорит, вы – служанки, а хвалите его, а бабушка так нет... видно, она, говорит, не хочет моего счастья, а хочет уложить меня в могилу, – бог с ней». – «Полноте, говорю, сударыня, как это может быть: бабенка вас любит и так только, может быть, на первых порах изволили разгневаться, а после сердце их отойдет. Коли, говорю, Федор Гаврилыч вам мил, что ж ей тому препятствовать». – «Ах, нет,

говорит, Аленушка, он бедный и незнатный, а бабушка моя гордая».

– Что же старая ваша барыня? – спросил я.

– Старушка с виду ничего не показывали: скрытны чрезвычайно были-с! – отвечала Алена Игнатьевна. – Барышня пролежали в постели целый день, на другой день тоже: пищи никакой не принимают, что ни на есть чашка чаю, так и той в день не выкушают, сами из себя худеют, бледнеют, а бабенка хоть бы спросили, точно их совсем и на свете не бывало; по тому только и приметно, что сердце ихнее болело, что еще, кажется, больше прежнего строги стали к нам, прислуге. Старая девица за ними ходила, любимица ихняя; бывало, всех нас девушек кличкой кликали, а ту всегда по имени и отчеству называли, и на ту изволили за что-то разгневаться и сослали со своих глаз в скотную; приказчику тоже, что-то неладно на докладе доложил, того из своих рук изволили клюкой поучить. Мы уж, горничные девушки, не знаем, как и ступить, того и ждем, что над кем-нибудь гнев свой сорвут.

– Все бы это ничего, ничего бы дальше этого не пошло, если бы не эта мерзкая девчонка, фрелина нашей барышни: от ней весь сыр-бор потом и загорелся, – перебил резким тоном Яков Иванов.

В старческом дрожащем его голосе так и слышалась накипевшая желчь.

– Что ж тут горничная сделала? – спросил я.

– Передатчицей стала, – отвечал Яков Иванов прежним тоном, – записки стала переносить туда и оттуда к барышне – ветреная, безнравственная была девчонка, и теперь, сударь, сердце кровью обливается, как подумаешь, что барышня наша была перед тем, истинно сказать, почтительной и послушной внучкой, как следует истинной христианке, а тут что из нее вдруг стало: сама к бабеньке не является, а пишет письмо, что либо бегут с своим нареченным женихом, либо руки на себя наложат. Каково было старушке читать эти строки! Конечно, что они и тут своего геройского духа не потеряли. При мне это было, стукнули своей табакеркой золотой по столу: «Так не бывать же, говорят, ни тому, ни другому», а надобно спросить, что чувствовала их душа, зная, что они делали, и видя, чем им за это платят. Ваше высокоблагородие сами, может быть, имеете детей и можете понять, сколь легка для их родительского сердца неблагодарность за все об них попечения? Может быть, до сей поры кости нашей госпожи и благодетельницы содрогаются в могиле от этого!

Старик произнес последние слова эти с какою-то драматическою торжественностью и снова поникнул головою, но губы его шевелились, и, как мне казалось, он шептал молитву за упокой души его благодетельницы. Я между тем смотрел внимательно на Алену Игнатьевну. Лицо у ней горело, и она сидела, потупив свои добрые глаза. Я видел, что нравственное участие ее было на стороне барышни Ольги Николавны, и она не смела только возражать мужу, но, кажется,

думала иначе, как он думает. А между тем, вспомнилось мне, у этих стариков на плечах их собственный внук, пропившийся и продавшийся в солдаты, но они об нем как будто бы и забыли, как забывают на минуту старую и давно терзающую болезнь. При этой мысли мне сделалось как-то совестно спрашивать их о господах, и беседа наша, вероятно бы, прекратилась, но спасибо Грачихе; как и когда она вернулась в избу, я не видал, только вдруг опять явилась из-за перегородки и с лицом, еще более покрасневшим.

– Под караулом барышню держали, словно арестантку какую, – начала она с какой-то цинической усмешкой, – три старухи были приставлены в надсмотрщицы, чтобы, коли одна спит али дремлет, так чтоб другая стерегла, на молодых уж не надеялись, горничную девушку ее на поселенье при-судили было сослать. – При последних словах Грачиха кивком головы указала на Якова Иванова. – Да та тоже не глупа девка, хвост им показала, через двадцать лет уж после в ски-тах нашли. Немало страму было на весь околоток, и сколь, кажется, ни скрытно делали, а тоже все знали и все молодую барышню и Федора Гаврилыча жалели.

– Все жалели, – подтвердила шепотом Алена Игнатьевна, вздохнув и подняв глаза кверху.

– Как, мать, не жалеть-то! – подхватила Грачиха. – Хоть бы наш барин Михайло Максимыч любил Федора Гаврилыча; как в город ехать, все уж вместе, и у покойного тятеньки кажинный раз приставали. Я еще молода-молодохонька бы-

ла, а тоже помню: покойный Михайло Максимыч все ведь со мной заигрывал, ну и тот раз, как треснет меня по спине, да и говорит: «Катюшка, говорит, научи нас, как нам из Богородского барышню украсть?» – «А я, говорю, почем знаю». – «Али, говорит, дура, тебя никогда не воровывали, а ты все своей волей ходишь?» – «Все, говорю, своей волей хожу»; так оба и покатались со смеху. Врунья я смолоду была, а, пожалуй, и теперь такая.

– И теперь такая, – подтвердил я, – впрочем, ты про себя не рассказывай, а говори, как барышню украли, если знаешь.

– Знаю, все знаю, не такой человек Грачиха, чтоб она чего не знала, – отвечала толстуха, ударив себя рукой по жирной груди.

– Украли! – продолжала она, встряхнув головой и приподняв брови. – Хитрое было дело эким господам украсть. Старик правду говорил, что прежние баре были соколы. Как бы теперь этак они на фатеру приехали, не стали бы стариковские сказки слушать, а прямо, нет ли где беседы, молодых бабенок да девушек оглядывать. Барину нашему еще бы не украсть, важное дело... Как сказал он: «Друг Феденька! Надейся на меня, я тебе жену украду и первого сына у тебя окрещу!» Как сказал, так и сделал.

– Сделал?

– Сделал. Семь крестов носил он за свое молодечество, в полку дали! Тройка лошадей у него была отличнейшая, курьеркой так и звалась... «Моя, говорит, курьерка из воды су-

хого, из огня непаленого вынесет» – и вынашивала! Кучеренко, Мишутка был тогда, на семь верст свистал, слышно было; подъехали к Богородскому ночным временем, а метелица, вьюга поднялась, так и вьет и вьет, как в котле кипит. Мишутка сам после рассказывал: свистит раз, другой, нет толку – ветром относит. Свечка, глядят, горит еще в мезонине, а уговор такой с барышней был, что как свечка погаснет, значит, она на крыльцо вышла. Барин наш как шаркнет его по шиворотку. «Свисти, говорит, каналья, по-настоящему, по-разбойничьи!» Мишутка как верескнет, только грачи в роще с гнезд поднялись и закаркали. Глядь, свечка потухла. Федор Гаврилыч сейчас из пошевней вон, суметом через сад на красный двор и в сени. Глядит, барышня выскочила в одном капотчике. «Ах, говорит, душечка, Оленька, как это вы без теплого платья!» Сейчас долой с своих плеч свою медвежью шубу, завернул в нее свою миленькую с ручками и с ножками, поднял, как малого ребенка на руки – и в пошевни. «Пошел!» – говорят. Мишутка тронул было сразу, кореннаяхватила, трах обе завертки пополам. «Батюшка, барин, говорит, завертки выдали!» Барин наш только вскочил на ноги, выхватил у него вожжи да как крикнет: «Курьерка, грабят!» – и каковы только эти лошади были: услышав его голос, две выносные три версты целиком по сумету несли, а там уж, смотрят, народ из усадьбы высыпал верхами и с кольями, не тут-то было: баре наши в первой приход в церковь и повенчанье сделали: здравствуйте, значит, честь имеем вас

поздравить.

– Славно, старуха, рассказала! – воскликнул я.

– Э! – воскликнула, в свою очередь, Грачиха. – Ты разбе-ри-ка еще эту старуху, меня все баре любят, ей-богу.

– Постой, погоди, – перебил я, – священник, значит, был уже подговорен?

– Не знаю, чего не знаю, так не скажу, не знаю, – отвечала Грачиха.

– Какое, сударь, подговорен, – начал Яков Иванов, как бы погруженный, по-видимому, в свои размышления, но, кажется, не пропустивший ни слова из нашего разговора. – Зная нашу госпожу, – продолжал он, – кто бы из духовенства решился на это, – просто силой взяли. Барин ихний, Михайло Максимыч, буян и самодур был известный.

– Буян не буян, а вашей барыне, сколь ни обидчица она была, не уступал, извините нас на том. Тягаться тоже с ним за Полянские луга вздумала, много взяла! Шалишь-мамонишь, на грех наводишь! Ничего, говорит, ваша взяла, только смотрите, чтобы после рыло не было в крови...

– Кому-нибудь одному уж, сударыня, речь вести, либо вам, либо мне, – возразил с чувством собственного достоинства старик.

– Перестань, Грачиха, – прикрикнул я, – рассказывай, Яков Иваныч.

– Что, сударь, рассказывать, – продолжал он, – не венчанье, а грех только был. Село Вознесенское, может быть, и вы

изволите знать, так там это происходило; вбежал этот барин Михайло Максимыч к священнику. Отец Александр тогда был, Крестовоздвиженской прозывался, священник из простых, непоучный, а жизни хорошей и смирной. «Молебен, батюшка, говорит, желаю отслужить, выезжаю сейчас в Петербург, так сделайте милость, пожалуйста в божий храм». Священник» никакого подозрения не имевши, идет и видит, что церковь отперта, у клироса стоит какая-то дама, платком сглуха закутанная, и Федор Гаврилыч. Как только они вошли, Федор Гаврилыч двери церковные на замок и ключ кладет себе в карман, а Михайло Максимыч вынимает из кармана пистолет и прямо говорит: «Ну, говорит, отец Александр, что вы желаете: сто рублей денег получить али вот этого? Вы, говорит, должны сейчас обвенчать Федора Гаврилыча на Ольге Николавне, а без того мы вас из церкви живого не выпустим». Что тут священнику прикажете перед эким страхом делать? Стал первоначально усовещивать – ничего во внимание не берут, только пуще еще грозят.

Тут старый слуга приостановился, покачал несколько раз головой, вздохнул и снова продолжал:

– Отец Александр на другой же день приезжал после того к нашей госпоже и чуть не в ноги ей поклонился. «Матушка, говорит, Катерина Евграфовна, не погубите, вот что со мной случилось, и сколь ни прискорбно вашему сердцу я как пастырь церкви, прошу милости новобрачным: бог соединил, человек не разлучает, молодые завтрашний день же-

лают быть у вас». Генеральша наша на это ему только и сказала: «Вас, говорит, отец Александр, я не виню, но как поступить мне с моей внукой, я уж это сама знаю».

– Что ж, молодые приезжали? – спросил я.

Яков Иванов усмехнулся.

– Как же-с, – отвечал он, – приезжали, прямо явиться не смели, около саду все колесили, человека наперед себя прислали с письмом от Ольги Николавны, но только ошиблись немного в расчете. Старушка даже и не прочитала его, а приказала через меня сказать, что как Ольга Николавна их забыли, так и они им той же монетой платят хотя конечно, сердце их родительское никогда не забывало. Это, может быть, знает один только бог, темные ночи да я их доверенный слуга Ольге Николавне за то, что они свою бабушку за всю их любовь разогорчили и, можно сказать, убили, не дал тоже бог счастья в их семейной жизни.

– Неправда, неправда, грех на душу, старичок, берешь коли так говоришь! – воскликнула вдруг Грачиха. – Молодые господа начали жить, как голубь с голубкой, кабы не бедность да не нужда!

– А очень бедно они жили? – перебил я.

– Еще бы не бедно! На какие капиталы было жить? – отвечала с озлобленным смехом Грачиха. – Старушка, мать Федора Гаврилыча, вестимо, все им отдала, сама уж в своей усадьбишке почесть что с людишками в избе жила спала и ела. Именье небогатое было, всего-на-все три оброшника, да

и те по миру ходили. Больше все наш барин вспомоществования делал и квартиру им в городе нанимал, отоплял ее, запасу домашнего, что было, посылал зачастую. Ольгу Николавну он больно уж любил и после часто говаривал: «Я бы, говорит, сам женился на Ольге Николавне, да уж только бабушка ее мне противна, и она полюбила другого». Барин наш простой ведь был и к нам, мужикам, милостивый – только гулящий.

– Жизнь уж самая бедная молодых господ была, – вмешалась Алена Игнатьевна. – Голубушка наша, Ольга Николавна, рукодельем своим даже стали промышлять, кружева изволили плести и в пяльцах вышивали и продавали это другим господам; детей тоже изволили двойников родить на первый год, сами обоих и кормили; как еще сил их хватило, на удивленье наше!

– За чем пошла, то и нашла! – заметил Яков Иванов.

– Мало ли, любезный, кто за чем ходит, да не все то находят! – возразила ему Грачиха, разводя руками. – Федор Гаврилыч попервоначально ни за чем дурным не ходил, и все его старание было, чтобы хоть какую-нибудь службу дали, да уж только заранее струменты были все подведены. Барин наш все ведь нам рассказывал. Думал было также он, чтобы исправником Федора Гаврилыча сделать, ну и дворянство обещать обещали, а как пришло дело к балтировке, и не выбрали: генеральши ихней испугались, чтоб в противность ей не сделать! Покойный Михайло Максимыч пытал на себе во-

лосы рвать и прямо дворянству сказал: «После того вы хуже мужиков, коли этой, согрешила, грешная, старой ведьмы испугались». Каменного сердца человек госпожа ваша была, хоть ты и хвалишь ее больно; губила ни за что ни про что молодых барь, а вы, прислуга, в угоду ей, тоже против их эхидствовали, – заключила Грачиха и опять ушла из избы.

– И пить-то уж не мы ли его заставили, коли уж вы все на нас сворачиваете? – проговорил ей вслед Яков Иванов с обычным своим покачиванием головы.

– А он попивать начал? – спросил я.

– До безобразия: вместо того чтобы в бедности и недостатках поддержать себя, он первоначально в карты ударился, а тут знакомство свел с самыми маленькими чиновниками: пьянство да дебоширство пошло, а может, и другое прочее, и генеральша наша, действительно, слышавши все это самое, призывает меня, и прежде, бывало, с ближайшими родственниками никогда не изволила говорить об Ольге Николавне, имени даже их в доме произносить запрещено было, тут вдруг прямо мне говорят: «Яков Иванов! Наслышана я, что внучка моя очень несчастлива в семейной жизни, и я желаю, чтобы она была разведена со своим мужем». – «Слушаю, говорю, ваше превосходительство, но только каким манером вы полагаете это сделать?» – «Это уж не твое дело, ты должен исполнять, что тебе будет приказано». Я кланяюсь. «Поезжай, говорит, сейчас в город и проси ко мне приехать сегодня же городничего». Я еду, и так как господин этот

городничий почтеть что нашей госпожой был определен, и угождал ей во всем. Сейчас приезжает, и какой промеж их разговор был – я не знаю, потому что не был к тому допущен.

– А тут и дело пошло? – сказал я.

Яков Иванов несколько позамялся, впрочем продолжал:

– Дело пошло такого рода, что так как Федор Гаврилыч стал любить уж очень компании, был он на одном мужском вечере, кажется, у казначея, разгулялись, в слободе тут девушки разные жили и песни пели хорошо, а тем временем капуста была, капусту девушки и молодые женщины рубят и песни поют. Вся компания туда и отправилась, и что уж там было – неизвестно, только Федор Гаврилыч очень был пьян, другие господа разъехались, а он остался у хозяйки, у которой была молодая дочь. Городничий в то время, получа донесение, что в такой поздний час в таком-то доме происходит шум, приходит туда с дозором и находит, что Федор Гаврилыч спят на диване, и дочка хозяйская лежит с ним, обнявшись, и так как от генеральши нашей поступило по этому предмету прошение, то и составлен был в городническом правлении протокол – дело с того и началось.

В продолжение всего этого рассказа я глаз не спускал с старика, и хоть он ни в слове не проговорился, но по оттенкам в тонких чертах лица его очень легко было догадаться, что все это дело обдумывал и устраивал он, вместе с городничим. Предугадывая, что и на дальнейшие мои расспросы он станет хитрить и лавировать в ответах, я начал более вы-

зывать на разговор Алену Игнатьевну.

– Что же Ольга Николавна? – спросил я, прямо обращаясь к ней.

Алена Игнатьевна по обыкновению потупилась, Яков Иванов улыбнулся и сказал жене:

– Рассказывайте!

– Ольга Николавна, – начала Алена Игнатьевна, глядя на концы своих еще красивых пальцев, – ничего не знали и не понимали, видеv только, что Федор Гаврилыч попивают, дома не ночевали, сидят под окном и плачут. На ту пору, словно на грех, приходит мать протопопица, женщина добрая, смиренная и к господам нашим привязанная. Видевши Ольгу Николавну в слезах, по неосторожности своей и говорит: «Матушка, говорит, Ольга Николавна, что такое у вас с супругом вышло?» – «Что, говорит, такое у меня с супругом вышло? У меня никогда с мужем выйти ничего не может». Скрывали тоже и стыдились, что бы там сердце их ни чувствовало, а протопопица эта и говорит: «Матушка, болтают, аки бы от вас подано на супруга в полицию прошение, и супруг ваш найден в таком-то доме и с такой-то женщиной...» Голубушка Ольга Николавна, как услышали это, побледнели, как мертвая, выслали эту протопопицу от себя, ударили себя в грудь. «Когда, говорит, так, так знать я его не хочу. Сейчас, говорит, еду с детьми к бабеньке, кинусь ей в ноги, она меня простит, а с ним, с развратником, жить не желаю». Наняли ей кой-какого извозчика, и в простых санишках, в одном хо-

лодном на вате салопчике, – меховой уж был в закладе, – на деточках тоже ничего теплого не было, так завернули их в овчинные полушубочки, да и те едва выкланяла у квартирной хозяйки, – да так и приезжает к нам в усадьбу, входит прямо в лакейскую. Старушка, как услышала их голос, сейчас встала с кресел и скорым этак шагом пошли им навстречу, и такое, сударь, было промеж их это свидание и раскаяние, что, может быть, только заклятые враги будут так встречаться на страшном суде божием. Ольга Николавна ничего уж и говорить не могла, пала только к бабеньке на грудь, а старушка прижала их одной рукою к сердцу, а другой внучат ловят, мы все, горничная прислуга, как стояли тут, так ревом и заревели. «Бабенька, – говорит Ольга Николавна, – простите ли вы меня?» – «Ничего, говорит, друг мой, ни против тебя, ни против детей твоих я не имею, во всех вас течет моя кровь, только об злодее этом слышать не могу». – «Бабушка, говорит, я сама об нем слышать не могу».

Последние слова жены старик сопровождал одобрительным киваньем головы; на его мутных зрачках и покраснелых веках показались даже слезы.

– И надо, сударь, было видеть, – почти воскликнул он дребезжащим голосом, – радость нашей генеральши: только в золото не одела своих правнуков. Призывают тут меня сейчас к себе и заставляют писать в Питербург, чтобы самая лучшая мадам француженка была выслана; за Ольгой Николавной, как самая усердная рабыня, стали ходить. Узнав, что

они ночи не изволят почивать, в свою спальню их перевела, и, как только Ольга Николавна вздохнут или простонут, на босу ножку старушка вставали с своей постели и только спрашивали: «Что такое, Оленька, дружок мой, что такое с тобой?» Но ничем этим, видно, перед Ольгой Николавной не могли они заслужить, никто им, видно, не был милей Федора Гаврилыча.

– Что ж она делала? – спросил я.

– А делала то, что через неделю же стала говорить и поступать все вопреки бабушке! – отвечал порывисто Яков Иванов. – Что бы те ни предприняли и ни сделали, все им было неприятно; что есть подарки, так и за те не то чтобы как следует поблагодарили, а в руки даже взять не хотели хорошенько и все кидком да швырком.

– Не от грубости хоть бы это делали Ольга Николавна, – скромно возразила Алена Игнатьевна.

– Отчего ж? – спросил я.

Алена Игнатьевна опять уставила глаза на свои пальцы и отвечала:

– Тосковать уж очень стали об Федоре Гаврилыче. Сколь, может быть, он ни виноват был против их, но они, кажется, больше жизни своей его любили, ну и Федор Гаврилыч тоже раз десять, может, приходили пешком к нашей усадьбе, чтоб только свиданье с супругой своей иметь. Целые дни, сидючи в поле, проплакивали, так как приказание от старушки было, чтоб их на красной двор даже не допускать, не то что

уж в комнаты. Ольга Николаевна, все это слышавши и знаяши тоже, в какой они бедности проживают, призовут, бывало, тайком мужичков, которые побогаче: «Милые мои, говорит, дайте мне хоть сколько-нибудь денег, я вам после отдам». Ну и мужички кто синенькую, кто рубль серебром, четвертачок, полтинничек дадут им по своему состоянию: они сейчас их пошлют Федору Гаврилычу, но те тоже не принимали этих денег. «Если, говорит, мое сокровище Оленьку у меня отняли, мне ничего не надо. Я буду ходить по миру и под окном собирать милостыню».

Яков Иванов, при последних словах, взглянул на жену своими слепыми глазами сердито и прямо обратился ко мне:

– Про деньги генеральша наша ничего бы не сказала, напротив, я самолично возил Федору Гаврилычу двадцать пять тысяч в своем кармане, чтоб только он али бы в Сибирь, или хоть в иностранные земли уехал, но он и того не почувствовал. Нашей госпожи было одно желание: чтоб только он не был мужем нашей барышни, так как он недостоин того.

При последних словах Грачиха как из-под земли выросла и появилась.

– Да кто может мужа-то с женой судить али разлучать? – начала она своим резким тоном. – Что вы это говорите, греховодники? Где бог-то у вас был втепоры? Барин наш, как тогда из Питера приехал и услышал, и только руками всплеснул. «Как!» – говорит, и сейчас же за Федором Гаврилычем лошадей в город. «Федя! Дурак! Как у тебя жену отняли?»

Тот, сердечный, только всплакал, смиренный ведь барин был, а от делов-то ихних словно и разуму лишился.

Яков Иванов вздохнул.

– Доброму и хорошему наставлял и научал его ваш барин. Дай ему бог царство небесное, век его поминаем, – проговорил он.

– Да научил же, на вот вам! Из-под носу было опять украли Ольгу Николавну, – подхватила Грачиха.

– Разбойники еще и не такие дела делают, и людей режут, – возразил Яков Иванов.

– Что такое разбойники? – спросил я.

Старик с грустной улыбкою покачал головой.

– И рассказывать, сударь, – начал он, – так вы, может быть, не поверите, судя по нынешнему, что делалось в прежние времена. Нельзя и старину за все похвалить: безурядицы много было: разбойник тогда по губернии стал ходить по имени Иван Фаддеич, и разбойник сильнейший; может быть, более трехсот человек шайка его была, словно в неприятельских землях разъезды делал и грабил по Волге и другим судоходным рекам. На больших дорогах тоже: почесть что проезду не стало, и не то чтоб одиночников из простого народа обирал, а ладил, нельзя ли экипаж шестериком, восьмериком, даже самые почты остановить, или к помещикам, которые побогаче, наедет с шайкой в усадьбу и сейчас денег требует, если господин не дает или запирается, просто делали муки адские: зажгут веники и горячими этими

пругьями парят. По всем деревням, где бы ни захотел, прием ему был, как в своей вотчине. Начальство тоже, бог его знает, подкуплено ли было, али боялось, только года три воинская команда не могла его изловить и арест ему сделать. Страх был на всех великий, и таким делом сидят господа наши – генеральша с Ольгою Николавною и своими внучатами – вечером, в своей малой гостиной, горят перед ними две восковые свечи, а прочие комнаты почесть что не освещены, окромя нашей официантской и девичьих комнат. Вдруг слышим свист, гагайканье в поле. Что такое? И первоначально думали, что пьяные мужики с базару едут. Однако глядим, в окнах зарево, выбежали на крыльцо: овины наши горят. Все мы, лакеи, бросились, конечно, туда, усадебный народ тоже бежит. Господа, слышавши шум, изволят спрашивать: «Что такое? Что случилось?» На эти их слова ружейный выстрел, раз, два, рамы в ихней самой гостиной затрещали, зазвенели, вламываются в окна двое мужчин, в поддевках, с бородой и с усами. Старушка наша, по своему геройству, встают. «Кто вы такие?» – говорит. Один из этих мужчин отвечает ей: «Я Иван Фаддеич, и вы, госпожа генеральша, пожалуйста вашу внуку, которую вы у мужа отняли». Ну, и старушка, поослабнувши, конечно, опустились в кресло и только вскрикнула: «Люди, где вы?» А Ольга Николавна, прижавшись тем временем с детьми за бабенкины плечи, видят, что у одного из мужчин борода и усы спали, – глядь, это Федор Гаврилыч. Как вскрикнула: «Ах!», да так и пала замертво. Невзирая

на это, Федор Гаврилыч хватают их на свои руки, а другой мужчина, – вернулись было две горничные девицы и лакей, – как резнет их всех наотмашь кулаком, так те головами назад в двери и улетели, и после оба опять в окошко, и след простыл. Я уж и сам не знаю, как очутился в комнатах, слышу только, что Ольгу Николавну украли. Генеральша без памяти, дети плачут, и только уж на другой день, когда старушка изволили прийти несколько в себя, получаю я от них такое приказание, чтоб ехать сейчас в уездный город, на квартиру Федора Гаврилыча, и если Ольга Николавна там, то вручить ей письмо, в противном же случае подать в подлежащий земский суд законное объявление обо всем случившемся. Я приезжаю, выходит ко мне Федор Гаврилыч. «Поздно, говорит, Яков Иваныч, опоздали вы с вашей барыней, Оленька моя лежит на столе, а вместе с ней и я лягу». – «Ну, говорю, Федор Гаврилыч, вы себе сами все это предуготовили – сами и отвечайте за то богу».

– Отчего же она так вдруг уж и умерла? – перебил я старика.

– В тягости они изволили быть, ну, и с этаких страхов и ужасов выкинули... и не перенесли уж потом того...

– Неужели же он в самом деле с разбойником с Иваном Фаддеичем приезжал? – спросил я.

Грачиха на это всплеснула руками.

– Нету, батюшка, нету; что он, старая лиса, говорит! – воскликнула она. – Ну, просто тебе сказать, наш барин шутку

хотел сшутить. Он сам этим разбойником Иваном Фаддеичем и наряжен был; кто знал, что экой грех будет. Чем бы старухе со страху окостенеть, а тут на-ка, молодая барыня лишилась от того жизни. Барин наш тогда, после похорон, приехал и словно с ума спятил: три недели пил мертвую, из пистолета себя все хотел застрелить. Трое лакеев так и ходили по следам его, чтоб чего не сделал над собой, только и утешение было, что на могилу к Ольге Николавне ездить. Приедет туда да головой себя об памятник и начнет колотить. А что уж на Федора Гаврилыча приходит, так это извини, не он будет отвечать богу, а вы, вы, вы... вот вам что – да! Вместо того чтобы вам с вашей старой барыней делать поминовение за упокой праведной души Ольги Николавны, вы по начальству пошли и стали доказывать, аки бы Федор Гаврилыч с настоящим разбойником Иваном Фаддеичем приезжал, деньги все обрал и внучку украл. Барин наш пытал заявлять всем начальникам, что это не разбойник какой, а он приезжал: «Ну, когда я виноват, говорит, так и спрашивай с меня!..» – так и веры, паря, никто не хотел иметь. Что уж тут говорить: сам Иван Фаддеич, разбойник бы, кажись, так и тот, перед кобылой стоявши, говорил: «Православные, говорит, христиане, может быть, мне живому из-под кнута не встать, в семидесяти душах человеческих убитых я покаянье сделал, а что, говорит, у генеральши в Богородском не бывал и барина Федора Гаврилыча не знаю».

– Этого, сударыня, мы не знаем и знать того не могли, –

возразил Яков Иванов, – не мы его судили, а закон.

– Сами вы, любезный, законы-то хорошо знали да подводили... На-ка, какой закон нашел! Присудили хоть бы Федора Гаврилыча ни за что ни про что, за одно только смирение его, присудили на поселенье, – экие, паря, законы наши.

– Того и стоил, туда ему и дорога была, – произнес Яков Иванов, как бы сам с собой.

– Бог знает, кому туда дорога-то шла, – возразила Грачиха, – не тот, может, только туда попал. Старой вашей барыне на наших глазах еще в сей жизни плата божья была. Не в мою меру будь сказано, как померла, так язык на два аршина вытянулся, три раза в гробу повертывалась, не скроешь этого дела-то, похорон совершать, почесть, не могли по-должному, словно колдунью какую предавали земле, страх и ужас был на всех.

При этих словах Грачихи избенная дверь с шумом растворилась, стоявший на полочке около задней стены штоф повалился и зазвенел, дремавший на голбце кот фыркнул, махнул одним прыжком через всю избу и спрятался под лавку. Мы все невольно вздрогнули, Яков Иванов побледнел. В полумраке в дверях показалась фигура с растрепанными волосами, с истощенным лицом, в пальто сверху, а под ним в красной рубашке, в плисовых штанах и в козловых с высокими голенищами сапогах. За ним выступала другая физиономия, с рыжеватой, клинообразной бородой и с плутоваты-

ми, уплывшими внутрь глазами, и одетая в аккуратно подпоясанную бекешку.

– Ой, чтоб вас, псы, испугали! – воскликнула Грачиха.

– Кто мне смеет водки не давать? – осипло проговорила растрепанная фигура.

Я догадался, что это был охотник с хозяином.

– Пошел, пошел в свое место, господа здесь, – проговорила Грачиха.

Охотник обвел избу своими воспаленными глазами и остановил их на мне; потом, приложив руку к фуражке, проговорил:

– Честь имею явиться: гусарского Ермаланского полка рядовой! Здравствуйте, дедушка и бабушка! – прибавил он и потом опустился на лавку около старушки, схватил ее за руку и поцеловал; при этом у него навернулись слезы.

– Дедушка у меня умная голова – министр! Дедушка мой министр! – говорил, хватая себя за голову и с какой-то озлобленной улыбкой, гуляка. – Вы дурак, хозяин мой, подай торбан³, – продолжал он и, тотчас же обратившись ко мне, присовокупил: – Позвольте мне поиграть на торбране.

Клинообразный мужик стоял в недоумении.

– Пошел! Марш! – крикнул охотник.

Хозяин ушел.

– Дедушка мой, министр, изволил приказанье отдать, чтоб

³ Торбан – украинский музыкальный инструмент, имеющий около трех десятков струн.

быть ему по торговой части: «Галстуки, платки, помада самолучшие; пожалуйста сюда, господин, сделайте милость, пожалуйста сюда!» – говорил охотник, встав и представляя, как купцы зазывают в лавку, – плутовать, народ, значит, обманывать, – не хочу! Володька Топорков пьяница, но плутом вот таким не бывал, – воскликнул он, указывая одною рукою на дедушку, а другою на возвращающегося хозяина, который смиренно подал ему торбан. – Мы у Мясницких ворот в трактире жили, – продолжал он, – там наверху, в собачьей конуре, ничего – играть можем, а уж плутовать не станем, – шалишь! А сыграть – сыграем, – заключил он и действительно взял несколько ловких аккордов, а потом, пожимая плечами, запел осиплым голосом:

Куманек, побывай у меня,
Разголубчик, побывай у меня!
Что ж такое, побывать у тебя,
У тебя, кума, вороты скрипучи,
Скрипучи, пучи, пучи, пучи, пучи

– Ну, паря, хороша песня, эку выучил! У нас пьяный мужик лучше того споет, – отозвалась Грачиха.

– Погоди, постой, слушай – произнес мрачно Топорков и потом опять, сделав несколько аккордов, запел:

Из Москвы я прибыл в Питер,
Все по собственным делам,

Шел по Невскому проспекту
Сам с перчаткой рассуждал,
Что за чудная столица,
Расприкрасный Питембург.

– Хорошо? – спросил Топорков, остановясь.

– Нет, и это нехорошо, на балалайке хорошо играешь, а поешь нескладно! – отвечала Грачиха.

– Постой, садись около меня, – проговорил гуляка и, взяв Грачиху за руку, посадил рядом с собой. – Слушай, – произнес он и начал заунывным тоном:

Туманы седые плывут
К облакам,
Пастушки младые спешат
К пастушкам.⁴

Но эта песня уж, кажется, и самому Топоркову не понравилась; по крайней мере он встал, подал с пренебрежением торбан хозяину и, обратившись ко мне, сказал:

– Позвольте на театре разыграть?

И потом, не дожидаясь ответа, снова встал в позу трагиков и начал:

Спи, стая псов!

⁴ Туманы седые плывут – третья строфа приписываемого А.С.Пушкину стихотворения «Вишня».

Спи сном непробудным до страшного суда,
Тогда воскресни и прямо в ад, изменники,
И бог на русскую державу ополчился!
Он попустил холопей нечестивых
Торжествовать над русской землей.

Говоря последние слова, Топорков опять указал на деда своего и на хозяина.

– Эк его благует, словно леший, – заметила Грачиха, покачав только головой.

Топорков посмотрел на нее мрачно, опустился на скамейку около бабушки и положил к ней голову на плечо, потом, как бы вспомнив что-то, ударил себя по лбу и проговорил, как бы больше сам с собой:

– Где мои деньги? Кто мне смеет водки не давать?

– Батюшка, Володюшка, тебе вредно, – говорила старуха, приглаживая растрепанные волосы внука. – Деньги твои у меня, да я тебе не даю, тебе на службе пригодятся.

– Бабушка! Не у тебя деньги! – воскликнул Топорков. – Я знаю, у кого деньги, ну, бог с ним! Меня продали, бог с ним. Иосифа братья тоже продали, бог с ним. Не надо мне денег! – заключил гуляка и потом, ударив себя в грудь, запел:

Русской грудью и душою
Служит богу и царям.
Кроток в мире, но средь бою
Страшен, пагубен врагам.

Оглушенный этим пением и монологами, я, впрочем, не переставал глядеть на слепца. Ни мои расспросы, ни колкие намеки Грачихи, ничто не могло так поколебать его спокойствия, как безобразия внука. С каждой минутой он начинал более и более дрожать и потом вдруг встал, засунул дрожащую руку за пазуху, вытащил оттуда бумажник и, бросив его на стол, проговорил своим ровным тоном:

– Нате, возьмите ваши деньги!.. Алена Игнатъевна, уведите меня отсюда куда-нибудь, уведите, – проговорил он умявшим голосом.

– Будто? – произнес с насмешкою внук.

Старик ничего ему не ответил и, не ощупав даже палкою, перешагнул через скамью и быстро пошел по избе. Алена Игнатъевна последовала за мужем.

– Покойной ночи, королева! – проговорил им вслед Топорков.

Грачиха с своей неизменной правдой начала тотчас же бранить его.

– Пошто, пес, дедушек обижаешь и печалишь? Балда, балда и есть, не даст тебе бог счастья и в службе, коли стариков не считаешь, пьяный дурак!

Топорков слушал ее, понутив голову.

– Деньги вы возьмете или мне прибрать прикажете? – спросил клинобородый хозяин.

– Сам приберу, – проговорил Топорков и спрятал бумаж-

ник в карман. – Иосифа братья продали, а я эти деньги бабушке отдам. Хозяин-дурак, пойдем, куда сказано.

– Пойдемте-с, – проговорил смиренно мужик, и они ушли. Я тоже ушел в свою комнату. Из-за дощаной перегородки в соседнем номере слышались, вместо крикливых возгласов гуляки, истовые слова молившегося старика: «Боже, милостив буди мне грешному! Боже, очисти грехи мои и помилуй!»

И затем все смолкнуло, и только по временам долетал до меня голос бранящейся или просто разговаривающей Грачихи с подъехавшими мужиками-обозниками. Через четверть часа заложили моих лошадей, и Грачиха содрала с меня денег сколько только могла, и когда я ей заметил:

– Старая, много берешь.

– Полно-ка, полно, много берешь, ишь во каких енотах ходишь, а я вон целый век в полущубчишке бегаю. Много с него взяла, – отвечала она и, впрочем, усадила меня с почтением в сани, а когда я поехал, она только что не перекрестила меня вслед.

Примечания

Впервые рассказ появился в журнале «Библиотека для чтения» (1857, № 2). Был закончен 1 января 1857 года. В дальнейшем текст произведения значительной доработке не подвергался.

Чернышевский считал рассказ превосходным. «Старая барыня» принадлежит к лучшим произведениям талантливого автора, а по художественной отделке эта повесть, бесспорно, выше всего, что доселе издано г. Писемским».⁵

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: «Сочинения А.Ф.Писемского», издание Ф.Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями по предшествующим изданиям, частично – по посмертным «Полным собраниям сочинений» и рукописям.

⁵ Н.Г.Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IV. М., 1948, стр. 722.